

Литературно-художественный

ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Д Е Л О

№ 4.

А П Р Е Л Ъ

1951

Сан Франциско

ДЕЛО

**Литературно-художественный
ЕЖЕМЕСЯЧНИК**

Том I, № 4

Апрель 1951 г.

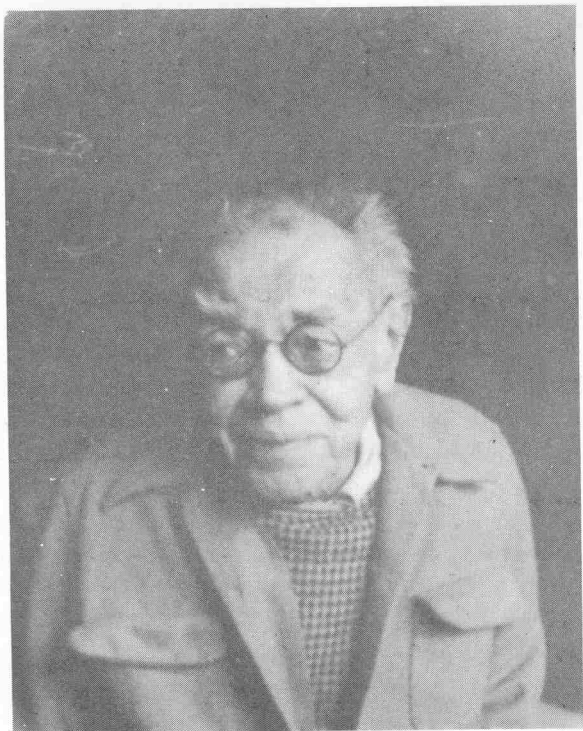
Сан Франциско

Алексею Михайловичу

РЕМИЗОВУ

DELO — MONTHLY LITERARY REVIEW

Publisher-Editor Mstislav N. Ivanitsky



Александр Григорьевич Зор

“... я родился в Москве, в Замоскворечье (Больш. Толмачевский переулок) в Купальскую ночь 24 июня 1877 г. Печатаюсь с 1902 г.”
(Из письма А. Ремизова)

Сказогник

Это было на русское Рождество, в 1940 году, уже во время войны.

У Ремизовых устраивалась ёлка, пригласили и меня. Помню, как сейчас: на мой робкий звонок дверь открыл сам хозяин — маленький, тихий, приветливый, точно персонаж из детской сказки, с горбом, но не горбун от рождения. (От вечного сиденья, нагнувшись над книгой, стал он к старости горбатым; позднее, когда мы уже познакомились поближе, он говорил мне с гордостью: пощупайте, настоящий горб у меня вырос); брови совсем как у чортика: две черных стрелы, летящие к вискам, а нос, как у чайника, вздернутый над мягким, большим и приятным лягушечьим ртом и лучистые, детские глаза, то грустные, то плутоватые. Волосы подстрижены под машинку (первый номер), даже зимой. К парикмахеру бегать нет времени, а чтоб не было холодно --- татарская тюбетейка на макушке. Лицо доброе-доброе, как бы примиренное с жизнью.

Сходство с персонажем из сказки подчеркнуто и одеждой: носил он странного вида ермолки, а зимой еще кутался в невероятные шали. Но это, я думаю, не только из чудачества, а из-за природной зябкости, да чтоб понравиться детишкам; он их очень любил, часто затеивал на улице с ними разговоры, рассказывал им сказки, радуясь с ними (если не больше, чем они) тому миру, что видеть умеют лишь дети и «посвященные».



В небольшой комнате стены покрыты самодельными полками, на которых стоят и лежат разной величины и объема книги: все — старые, испытанные друзья. У окна — черный,

простой, крашенный стол, за которым Ремизов пишет, читает или рисует. А из окна через улицу наискосок виден гараж и две-три серых стены. Возле двери большой диван, из которого все время выскакивает пружина, как раз там, куда сядешь; не дай Бог тоже попасть на низенький стул, такой твердый, все бока изломает.

Помню я Алексея Михайловича на этом стуле, когда разместив гостей на неказистой своей мебели, сидит он бывало за столом над раскрытой книгой и, придвинув ближе настольную лампу, одной рукой перелистывает страницы, а другую держит прижатой к груди (такой обычный для него жест). Сейчас он начнет ворожить, ведь он не читает, а ворожит, — и кого только не завораживал он своим чтением!

В эту зиму войны перечитывал он Сологуба («Записки»), Лескова и Гоголя, а когда станет уж очень грустно на сердце, — главы из жизни протопоба Аввакума, особенно место, где протопоб с протопобицей и детьми бредут пять недель из Сибири на Русь, по голому льду. Выбившись из сил и упав, протопобица спрашивает: «Долго ли мука сия, протопоб, будет?» — «Марковна, до самыя смерти», — отвечает Аввакум.

И кротко-покорно тогда говорит протопобица: «Добро, Петрович, ино еще побредем».

— Вот какие люди были, — после долгого молчания скажет Алексей Михайлович, — у них надо учиться несокрушимой воле смиренности.



Стучит дождь в окно, барабанит по крышам домов. Незаметно пришла ночь. Алексей Михайлович, как каждый вечер, для затемнения закрывает окно плотной бумагой и прикрепляет ее старательно со всех сторон к раме блестящими кнопками. От одинокой лампы посреди потолка в углах комнаты — полутьма, и только на столе лежит свет от нее опрокинутым блюдцем.

— Пойдем, — говорит мне Ремизов, — на кухню. Там

монашек пришел. В комнату зайти не хочет, чужих стесняется. Он там на табуретке сидит; маленький такой, ноги до полу не достают. Какой-то беспокойный он нынче, все к чему-то прислушивается, под нос себе что-то бормочет. Идем, сами увидите.

— Нет, подождем,—говорю я. —«Вы разве не слышали? Сейчас под ним табуретка скрипнула. На цыпочках, чтобы никто не услышал его в доме, крадется он к окну. Вот он прижался к стеклу и ждет . . .»

— Вы слышите, как за окном бушует ветер, льет дождь и голая ветка бьется в окно? — И Ремизов еще тише, почти шопотом:

— Монашек давно уже, может быть годами, ждал этих шагов за окном, и вот, он увидел . . .

— Кого? — спрашиваю я, уже чувствуя скрытую драму его героев, что происходит за закрытой дверью.

Силой своего воображения А. М. все, что было вокруг него и себя самого, переносил в сказку, куда приходил и монашек, и годами жил на его письменном столе вместе с фейерманом и пузатой чернильницей. Все это жило, дышало, говорило между собой, и если вы этого не замечали, то только потому, что не хотели прислушаться к тайному, но вполне внятному шопоту.

И так ясно, словно на яву, вижу я далекую кухню в Париже и доброго старого сказочника, одиноко сидящего на краю табуретки и что-то бормочущего себе под нос . . . сказки? сны? новые свои еще неизжитые горести?

В ГОСТЯХ У РЕМИЗОВА

Писатель и человек, в большинстве случаев — два совершенно разных мира. Иному, как человеку, неохотно и руку подашь при встрече, а как писателю, с радостью подашь и пальто. Иногда же человек и писатель так хитроумно сплетены, что сразу не разберешь: где начинается один, где кончается другой . . . Таков и А. М. Ремизов, один из самых замечательных

русских писателей нашего времени и причудливейший из людей, живущих на Божьем свете.

Когда началась война, и Париж потонул во мраке, — по темным улицам приходилось ходить ощупью, часто пользуясь карманным фонариком, и расстояния от такого хождения удлинились как-то незаметно на каждом шагу. Люди стали реже ходить в гости друг к другу; многие предпочитали проводить вечера у себя дома. Ремизовы, Алексей Михайлович и Серафима Павловна, вовсе перестали выходить, у себя же принимали по-прежнему радостно. И все вечера проводили за чтением: А. М. обычно читал вслух, увлекаясь сам и увлекая слушателей. Чтение часто заканчивалось в три часа утра, с бесконечным «подогревом» — как называл А. М. чаепитие.

Ремизов был очень скромн, когда читал что-нибудь свое: прочтет главу и спросит: как вы думаете, хватит на сегодня, или еще вот прочту эту главу — она не длинная, всего две странички . . . Зато чужое читал часами, не отрываясь; иногда вдруг повторит какую-нибудь фразу и скажет: «Ведь как хорошо!» И так за чтением, за разговорами незаметно бежала ночь. А когда уходили, А. М. садился писать и часто встречал день за своим письменным столом.



Я никогда не видела А. М. без дела. Он всегда в движении: или что-нибудь делает по дому, или куда-то спешит и, конечно, каждую свободную минуту садится за письменный стол, с любовью выводя каждую букву, при этом еще выше поднимаются и без того высоко летящие брови, нижняя губа выпячивается вперед, и он горбится еще более, чем обычно. В очках, которые он обыкновенно надевает, когда работает; взгляд его делается пронзительнее, а лицо становится строже. Если же почему-либо ему мешают писать (в этой же самой комнате у Ремизовых и столовая, и гостиная, а приходили к ним гости во всякое время дня) то он, принимая участие в общей беседе, начинал рисовать лесовиков, водяных, чертиков, птиц, зверей. Весь ска-

зочный ремизовский мир оживал, начинал кружиться вокруг него и вы сами не замечали, как он вдруг и вас преображал в черную кляксу с «лапками», и вы переносились в волшебный мир «чуранья».

И откуда только бралась у него безудержная веселость, — у него, у которого и дня не было покоя, жизнь которого была полна неумных забот, постоянных огорчений и тяжелого безответного труда . . .



Серафима Павловна Ремизова, постоянный помощник и друг писателя, уже много лет по состоянию здоровья не могла заниматься хозяйством, и Ремизов делал в доме все сам. Был горничной и тогда называл себя шутя «Аннушкой»; увидит, бывало, крошки на столе и говорит, посмеиваясь: «ничего, ничего, вот сейчас придет Аннушка и все приберет». А когда он готовит — наденет передник, на котором вышита его голова, с носом-чайником, гордо вздернутым вверх. С юмором, с насмешкой над самим собой, над тем, что ему приходится делать, принимал он все невзгоды, никогда не жалуясь, делал всю нудную, не мужскую работу, отнимавшую у него столько сил, столько драгоценного времени. А чтобы С. П. все было легче принимать, он перевоплощался в своих еще неописанных героев.

Бывало С. П. выйдет погулять, а А. М. смотрит на часы, беспокоится, все думает, как бы с ней чего не случилось, например — переходя улицу . . . В этой постоянной заботе он уговорил С. П. с самого начала войны не читать газет. «С. П. слишком нервничает», пояснял он мне, — «вы тоже ничего лишнего про войну не рассказывайте . . .» И сам каждый день давал ей информацию, но с какими исправлениями . . . А то начнет вспоминать прошлое и вдруг скажет: «а помните, Серафима Павловна, как я вам принес яблочко», (это относилось к их жизни в России в 1919 г., когда яблоки были неслышанной роскошью), и при этом у него нежно засветятся глаза.

С. П. во время воздушных тревог было тяжело спускаться в погреб, а А. М. говорил, улыбаясь, что ему гораздо приятнее оставаться в квартире, так как вой сирен ему нравится: будто он едет на пароходе. С. П. ему только благодарно улыбалась в ответ. Так они не сошли в погреб и в тот день, когда Париж подвергся жесточайшей бомбардировке, и оба были ранены в голову осколками оконных стекол...



Вспоминаю, как А. М. ходил в префектуру подавать прошение о возобновлении карт д'идантитэ. Префектура в то время была завалена работой и приходилось простаивать в очередях часами; иногда и по два дня. В тот день, когда А. М. пошел в префектуру, было очень холодно. И он оделся не совсем обычно: поверх пальто закутался в длинную красную женину шаль, перевязав ее на груди, как это делают бабы, крест на крест; на голову надел еще вывезенную из России высокую суконную шапку, какой-то страшной формы и опущенную мехом. Сгорбленный, маленький, в очках, с лохматыми, торчащими вверх бровями, в невероятно больших галошах, быстрым шагом направился в префектуру. В руках он держал свое прошение — на гербовой бумаге, расписанное им самим странным письмом, разукрашенное разными виньетками, закорючками и заставками. Прошение это являлось без сомнения самым необычайным документом, когда-либо поданным в парижскую префектуру.

При виде столь фантастической персоны, ряды разомкнулись, и он легко прошел в здание. Чиновники, конечно, были заинтересованы этим удивительным просителем и его не менее удивительным прошением, и один из них подозвал его вне очереди. А. М. потом, посмеиваясь, рассказывал: «Чиновник оказался большим любителем и знатоком «каллиграфии» и пришел в восторг от моего прошения». Оно обошло всю префектуру, и А. М. тут же, без излишних формальностей, получил свое удостоверение, что обычно не делалось.

●

Камнями, что давят в жизни, называл А. М. все эти квитанции, счета за квартиру, газ, электричество, воду, которые получались так невыносимо аккуратно и с которыми ему изо дня в день приходилось вступать в единоборство. Я часто с горечью думаю, что теперь «камнями» всех размеров усеяна его комната. И как он переносит холод нетопленных домов, он, такой зябкий, кутающийся постоянно в свои «шкурки», как он называл душегрейки и различной величины и цвета шарфы, которые он надевал на себя один поверх другого. Вспоминаю его таким, как видела в последний раз в 1940 г. Он читал в этот вечер отрывок из своего еще неизданного романа, чудесной по ремизовски, может быть, лучшей его вещи. Помню, как устало переворачивала одну за другой страницы его похудевшая рука. И слышу, как звенят судки, с которыми он ходит каждый день в столовку за «простывшим супом».

Наталья Кодрянская